

Алёшино место

Рассказ

В нашей церкви долгие годы прислуживал батюшке Алёша – одинокий и, как казалось, несчастный горбун. Ему на войне повредило позвоночник, его лечили, но не вылечили. Так он и остался согнутым. Ещё и одного глаза у него не было. Ходил он круглый год в валенках, жил один недалеко от церкви, в боковушке, то есть в пристройке с отдельным входом.

Он знал наизусть все церковные службы: литургию, отпевания, венчание, крещение, был незаменим при водоосвящении, всегда точно и вовремя подавал кадило, кропило, выносил свечу, нёс перед батюшкой чашу с освященной водой – одним словом, был незаменим. Питался он раз в сутки, вместе с певчими в церковной сторожке. Казалось, что он был нелюдим, но я свидетель тому, как при крещении деточек озарялось радостью его лицо, как он улыбался венчающимся и как внимательно и серьёзно смотрел на отпеваемых.

Я ещё помнил то время, когда Алёша ходил бодро, выдвигая вперёд правое плечо, и казалось, что всегда неутомим и бодр, будет служить, но нет; во всем Господь положил предел. Он милостив к нам и даёт отдохновение: Алёша заболел, совсем занемог, даже ходить ему стало трудно, не то что служить, и он поневоле перестал помогать батюшке.

Никакой пенсии Алёша не получал, даже и не пытался оформить её. Деньги ему были совсем не нужны. Он не пил, не курил, носил одну и ту же одежду и растоптанную обувь. Никакие отделы социального обеспечения о нём и не вспомнили. А вот военкомат не забыл. К праздникам и к Дню Победы в храм приходили открытки, в которых Алёшу поздравляли и напоминали, что ему надо явиться за получением наград. Присылали талоны на льготы на все виды транспорта. Но Алёша никуда не ходил и ничем не пользовался. Кто его видел впервые, дивился на его странную, нарушающую, казалось, порядок фигуру, но мы, кто знал его давно, любили Алёшу, жалели, пытались заговорить с ним. Он отмалчивался, благодарил за деньги, которые ему давали, и отходил. А деньги, не вникая в их количество, тут же опускал в церковную кружку.

Мы видели, как тяжело он переживал свою немощь. С утра с помощью двух костылей притаскивал себя в храм, тяжело переступал через порог, хромал к скамье в правом притворе и садился на

неё. Место его было напротив Распятия. Алёша сидел во время чтения часов, литургии, крещения, венчания и отпевания, если они бывали в тот день, а потом уже уползал домой. Певчие жалели его и просили батюшку, чтобы Алёша обедал с ними. Конечно, батюшка разрешил. Да и много ли Алёша ел: две-три ложки супа, полкотлеты, стакан компоту, а в постный день обходился овсяной кашей и кусочком хлеба. Иногда немного жареной рыбки, вот и всё.

Во время службы Алёша шептал вслед за певчими, дьяконом и батюшкой слова литургии, вставал, когда выносили Евангелие, причастную чашу, когда поминали живых и усопших. Стоя на службе, я иногда взглядывал на Алёшу. Его, будто траву ветром, качало словами распева молитв: «Не надейтесь на князи, на сыны человеческия», Заповедей Блаженств, Херувимской, и, конечно, он вместе со всеми, держась за стену, вставал и пел Символ веры и Отче наш. Я невольно видел, как он страдал, что не может встать на колени при выносе чаши со Святыми Дарами, при начале причащения.

Когда кончалась служба, батюшка подходил после всех к Алёше и благословлял его крестом.

А ещё у нас в храме была такая бойкая старуха тётя Маша. Очень она была непоседлива. Но и очень богомольна. объехала много святых мест и продолжала их объезжать.

– Да разве это у нас вынос плащаницы? – говорила она. – Вот в Почаевской лавре – там это вынос, а у нас как-то обычно. А что такое у нас чтение Андрея Критского? Пришли четыре раза, постояли, разошлись. Нет, вот в Дивеево, вот там это – да! Там так продирает, там стоишь и рыдаешь. А уж Пасху надо встречать в Пюхтице. Так и возносит, так и возносит. А уж на Вознесение надо в Оптину. Вот где благодать. Там же и в Троицу надо быть. Сена накосят – запахи!

Когда Алёша был в состоянии сам ездить, она его упрекала, что он не посетил никаких святых мест, а мог бы – у него, фронтовика, льготы на все виды транспорта. Алёша только улыбался и отмалчивался. Думаю, что он никак не мог оставить службу в храме. А она у него была ежедневной. Даже в те дни, когда не было литургии, Алёша хлопотал в церковной ограде, помогал сторожу убирать двор, ходил за могилками у паперти. Тогда Маша, решив, чтоб зря не пропадали Алёшины льготы, стала брать у него проездные документы. Поэтому, конечно, она так много и объехала. А уж когда Алёша совсем занемог, Маша окончательно взяла его проездные себе.

И вот Алёша умер. И как-то так тихо, так умиротворенно, что мы и восприняли очень спокойно его кончину. Я пропустил два воскресенья, уезжал в командировку, потом пришёл в храм, и мне сказали, что Алёша умер, уже похоронили. Я постоял над свежим золотистым холмиком его могилы, помолился и пошёл поставить свечку за его поминовение.

Пришёл в храм, а на месте Алёши сидела Маша.

– Наездилась, – сказала она мне. – Буду на Алёшином месте сидеть. Теперь уж моя очередь.

Потом какое-то время я долго не был в храме, опять уезжал. А когда вернулся и пришёл на службу, на Алёшином месте сидела новая старуха, не Маша. Оказывается, и Машу уже схоронили. И Алёшино место освободилось для этой старухи.

– С Алёшиного места – прямо в рай, – сказала она.

Часто я вспоминаю Алёшу. Так и кажется иногда, что вот он выйдет со свечой, предваряя вынос Евангелия, или сейчас поднесет кадило батюшке, будет стоять, серьёзный и сгорбленный, при отпевании, и как же озарится его измученное, сморщенное лицо, когда «Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа» будет трижды погружаться во святую купель крещаемый младенец.

Застойные времена

В тот давний морозный декабрь в Вятке, куда я примчался из слякоти и туманов Москвы, я был здоров, счастлив и молод. Первые мои рассказы, напечатанные в столичных журналах, дошли до родины, один даже с фотографией, что восхищало. Вот, не вру, увидел в троллейбусе девушку, читающую мой рассказ. «Это – судьба», – забилося сердце. Я с ходу подсел, она покосилась, отодвинулась, а я сообщил: «Это я написал». Она ответила: «Иди, дядя, проспись». С тех пор не ищу контактов с читателями. С московскими. А Вятка? Вятка – это Вятка. Конечно, нет пророка в своем Отечестве, тем более в недоверчивой Вятке, но ведь родина. Родина. Родила и вырастила, как не мечтать чем-то отблагодарить. Вот и считал свои рассказы малым вкладом в «малую» родину. Малой роди-

ной называли место рождения писателя. Для кого малая, а для меня – всесветная. Таковой же она, уверен, была и для вятского русского поэта Анатолия Гребнева, живущего в Перми. Именно с ним мы встретились в эти морозы. Навестили писательскую и журналистскую организации, сходили во главе большого коллектива пишущих в баню, естественно, в номера. Естественно, с допингом для увеличения радости жизни. Вымылись и выслушали новости светской жизни областного центра.

– Нет, Толя, – сказал я, когда мы остались одни, – это счастье, что мы живём не в Вятке. Счастье. Приехали и уехали, а живи тут постоянно? Ведь это надо было бы участвовать в «борьбе». Ну чего вот он (я назвал фамилию) с бабами связался?

– А этот, – Толя назвал другую фамилию, – уже рехнулся от сознания своей гениальности. Ты слышал, он говорит: я – вятский Гоголь.

Я передал Толе приветы и поклоны от Анатолия Кончица – прекрасного писателя, тоже, естественно, вятского, живущего в Москве. Он сын сосланного в Вятку белоруса и подосиновской женщины. Не женщина из-под осины, а район такой, Подосиновский. И пересказал Толе до сих пор не напечатанную повесть Кончица. О ней чуть дальше. ...Пока же закончу рассуждение о климате провинциальной культурной жизни в сравнении с московской. В провинции враждуют всерьёз и подолгу. В писательской организации из десяти членов всегда восемь партий. Вражда идёт до гробовой доски, закручивает события, втягивает и ближних, и дальних. В Москве враждовать некогда. Во-первых, в Москве никому ни до кого нет дела, во-вторых, в Москве много писателей, и все гении, в-третьих, событий, то есть сплетен, такое количество, что их не переварить. Утром узнаёшь, что такой-то уехал в Израиль, к обеду – что такой-то оттуда вернулся, а такая-то ушла от такого-то к такому-то (так ему и надо), вечером в ЦДЛ подрались (вчера тоже дрались, но как-то не так, сегодня ярче, милиция была), такой-то выдвинут на премию, а такой-то задвинут (конечно, надо наоборот, да разве ж эти там, в секретариате, чего-нибудь понимают), того-то избрали, а того-то прокатили (надо было обоих прокатить), а эта сучка только приехала из Франции и уже включена в делегацию в Италию («а ты что ж, не знал, она же стукачка»), то есть такое количество событий, стычек, лагерей, заседаний, что когда уж тут подолгу враждовать. Одно было и продолжается противостояние: евреи и русские. Но как-то же уживались, сидели на одних совещаниях, пьянствовали вместе, делить, конечно, было что (издания, звания, поездки...), но как-то и это решалось. Я потом долгие годы был в Приёмной комиссии, сейчас некогда, а надо бы рассказать, как принимали в Союз. Если мы, русские члены Приёмной комиссии, не принимали в Союз еврея, причём совершенно по объективным причинам (бездарен, тягомотен, мало написал, подождём), то члены комиссии евреи тут же автоматически топили русского, будь он хоть расталантлив. Но как-то всё же договаривались, Союз писателей рос.

Именно в ЦДЛ я познакомился и мгновенно сдружился с Анатолием Кончицем, земляки же. Он часто звонил и забавлял, например, тем, что вот сейчас перечитал «Господина из Сан-Франциско» и понял, что в России только три прозаика: «Ты, я и Бунин». – «Тут у меня ещё Женя сидит», – говорил я. «Да, и ещё Женя». Но это он так шутил, а сам был скромнейший, совершенно не пробивной человек. Он написал повесть, где главный герой – унылый маленький человек советского времени. Комната в коммуналке, зарплата ниже уровня моря, кто такого полюбит? Но однажды в его комнате вдруг отъехала в сторону стена, за ней открылся сад, беседки, выскочил швейцар и пригласил: «А пожалте, барин, для аппетита погулять». Вот такой сюжет. Швейцар – имя его Филимон – любил барина. У берега тихой речки, конечно с лебедями, пели девушки в сарафанах, доносилась свирель пастуха. И барин, совершенно разнеженный, говорил Филимону: «Дай-ка ты мне, братец, в руки пистолет да поставь-ка ты себе на голову яблоко». – «А не портили бы вы яблоко, барин», – отвечал Филимон, несколько не сомневаясь, что барин попадет не в лоб, а в цель.

Толя, посмеявшись, сказал вдруг:

– А что, барин, не мало ли мы погрелись?

Мы стояли среди морозного тумана. Окутанные седым снежным куржаком, извергая мгновенно замерзающие облака выхлопа, проносились автобусы. Скрипели валенки торопливых закутанных прохожих. Непонятное время как бы умершего от холода дня подстрекало к сопротивлению. Тем более после бани боялись простыть.

– Да, Филимон, – отвечал я. – Не будем портить радость от встречи разговорами о роли интеллигенции в её личной жизни.

Но в тот же вечер мы снова нарвались на такие разговоры. Нас заарканила областная гросс-дама (прошу только не думать ни на кого из знакомых вятских женщин), её давно нет в Кирове, тогда же она держала своеобразный салон. У неё, помню, были какие-то прыгающие по стенам и потолку пресноводные лягушки. Это добавляло ощущений. Театральная и околотеатральная публика, телевизионщики, ещё кто-то пели и пили и говорили услышанное по «Голосу Америки». Наша интеллигенция, что для неё, увы, естественно, верила разным «голосам» сильнее, чем голосу Москвы. Виновата и Москва (очень дубовые тексты звучали над страной), но и сама интеллигенция, которой со времён предателя Курбского, а его демократы числят в основателях русской интеллигенции, кажется, что всё заграничное лучше всего. Мне слышать то, что слышал-переслышал в ЦДЛ, было уже и невмоготу. Господи, Боже мой, я на родине, в богоспасаемой Вятке, и снова должен слушать бесконечное: Сталин, евреи, свобода творчества, пример Запада, отношение к интеллигенции, оплата творчества по таланту (все же таланты!), сколько можно?

– Я ухожу, – сказал я Толе. – А ты, барин, как изволишь. Игра в барина и Филимона уже привязалась к нам, только мы так и не поняли, кто из нас кто; кто барин, а кто слуга.

– И на кого ж ты меня покинешь? – отвечал Толя. Мы выбрались из-за стола вроде покурить, оделись в прихожей и самым примитивным образом эмигрировали. Так сказать, безвизно. Мороз ещё подбавил. Троллейбусы уже не ходили. Стали ловить машину. Толя остался на остановке, поставив на скамью портфель и выскакивая голосовать проезжающим, я перешёл на другую сторону.

Машину-то мы поймали, а вот портфель у нас свистнули.

– Да, – сказал я, – очарование родиной продолжается.

Мы недолго бы переживали, если б портфель пропал без содержимого, но он пропал именно заряженным. Мы стали искать то, чем можно было б залить горечь интеллигентских дискуссий. Конечно, с высоты лет легко нас осудить: шли бы спать, и всё, но поставьте себя на наше место. Приехали на родину, давно не виделись.

Выручил писатель Владимир Ситников, спасибо. Он совершил нерядовой поступок, когда в глухую полночь вышел на наш звонок на площадку квартиры, сразу всё понял и помог.

На улице у меня лопнула подошва зимнего австрийского ботинка. На такие морозы она явно была не рассчитана. А ведь знали же немцы, что в России есть генерал Мороз. Быстро забыли. Нога моя заколела в минуту. Вприпрыжку мы побежали ночевать к моему брату.

Утром брат залил пространство щели на ботинке каким-то особым клеем.

– Погоду слушал, – сказал он. – У тебя, Толя, в Перми, гораздо теплее.

И вот эта случайная фраза брата о погоде решила нашу судьбу. Сидели на кухне и все прокручивали вчерашнее сидение с вятским бомондом. Разговоры его ничуть не отличались от разговоров и в Москве, и в Перми, рассуждали мы. У интеллигенции всегда все виноваты, но не она. Любимая тема – говорить о привилегиях начальства. Это же показывает зависть говорящего. Вторая любимая тема – обсасывать уже прошедшие события истории, которые уже не изменишь. Но зато сколько возможностей показать ум. Третья тема – осуждение пишущих (рисующих, играющих) собратьев. Конечно, все бездари. И так далее.

– У нас в Перми, – сказал Толя, – есть два поэта.

– Два? А ты? А?..

– Два враждующих. Зовут Штепсель и Тарапунька. Один – два метра, другой – метр с кепкой. Метр с кепкой написал: «Мировоззрение окраин центростремительней ума». Завихрение, конечно, но имеет же право. А высокий, Тарапунька, стал высмеивать: у этого шплинта и мировоззрение. Что ты! Обида, вражда. Если один пришел в Союз писателей, другой не придет.

– И у каждого читатели, так ведь?

– Естественно. А поехали-ка, Филимон, на вокзал, – сказал Толя. – Выпьем там. Не для пьянства, а чтоб не отвыкнуть для.

Поехали. Моментально схватили такси. Вообще, в дореформенной России с такси не было проблем, в Кирове особенно. Такси можно было вызвать из уличного телефона-автомата. Звонишь – через три минуты выезжает из-за угла. Ещё через пять минут водитель становится хорошим знакомым, а к концу поездки – преданным товарищем. Для начала Толя всегда читал стихи Передреева: «И вот стою и погибаю среди райцентровской грязи. Вот снова руку поднимаю, вот умоляю: подвези! Шофер берёт меня, сажает, а я ему не сват, не зять. Шофер глаза свои сужает, соображает, сколько

взять...» Вятские таксисты, в отличие от московских, глаза не сужали, брали по счётчику (что, кстати, было очень недорого), а один раз возивший нас таксист заявил: «Парни, это я вам должен платить, а не вы. Я с вами, парни, как в кино сходил». То есть умели мы поговорить с народом. Правда, народ был не нынешний. А таксисты, думаю, уже и забыли, когда возили простых людей.

Опять у меня перекидка в нынешние времена. Но, когда вспоминаешь, невольно сравниваешь. Поминая дни древние, поучаешься в них, говорит Псалтырь. Так и мы. Всё познается в сравнении. Чем плохо жили? Да ничем. Главное, не боялись завтрашнего дня. Стали недовольны жизнью – получай. Недовольство жизнью всегда ведет к её ухудшению.

Толсто замёрзшие стёкла вокзального ресторана не пропускали ни свету, ни изображения того, что происходило на перроне. Слышен был шум уходящих и приходящих электричек, гудки электро-возов.

– С этими разговорами, – сказал я, – будто из Москвы не уезжал.

– А я из Перми. У нас же тоже и «Немецкую волну», и «Свободу», и «Голос Америки» слушают. Глушат, конечно, да что толку. Антенны насобачились делать, приёмники делают помощней. За высокую техническую грамотность! – поднял Толя бокал.

– И за низкую национальную сознательность! – поднял я свой навстречу. – То есть за то, чтоб она возросла.

– Как всегда будет поздно, – хладнокровно отвечал Толя. Он закурил, порассматривал ногти на пальцах, поднял взгляд и весело предложил: – А поедем, Филимон, в Пермь. Сказал же брат – там теплее.

– Тогда уж в Москву. Там вообще оттепель. Мы почти посередине. Жребий?

– Жребий? – Толя уже достал спички и одну из них обезглавил. – Но! Вытянем Москву, а вдруг вначале пойдет на восток. Давай поедем туда, куда пойдет скорее.

– Давай.

Мы поднялись в кассовый зал, к расписанию. Вышло в Пермь. Билеты, правда, были в общий вагон, но что с того.

– Зима, мороз, и все куда-то едут. Ну, мы-то хотя бы освежить взгляд зрелищем заснеженной России, а все-то куда? – спрашивал Толя, проверяя запасы огня и дыма, сигарет и спичек.

Поезд, на диво, пришёл и отошёл вовремя. В вагоне было так натоплено, что по нему бродили в майках. Плакали дети, орали динамики. Вагон был чуть ли не двадцатый, хвостовой. Выехали за привокзальные стрелки – и всё равно мотало. Толя уже узнал, что в поезде ресторана нет, есть буфет, но что и это не то.

– Почему?

– Как говорят психологи, выслушай информацию со знаком минус: в буфете только аква минерале. – Толя сделал паузу. – А теперь выслушай информацию со знаком плюс: в первом вагоне у проводника, официальная кличка Игорь, есть. Правда, надбавка за подпольную продажу, ну-к что ж. Идём? Водка от гонений крепнет.

Тогда, опять же, кстати, качество спиртного было данным, то есть надёжным. Демократического пошла, убивающего людей, вроде «королевского» спирта «ройяль», вроде чудовищной уксусной бормотухи не было и в страшном сне.

Мы оставили полушубки и пошагали налегке. Представьте эти два десятка вагонов, в которых жар и духота, и эти снежные тоннели тамбуров, эти тяжелые обросшие ледяным свинцом двери. Вечность мы шли до этого Игоря. Он оказался на месте, выслушал пароль от нашего проводника, назвал сумму. Мы к тому времени уже умели не удивляться. Купили расположение этого Игоря ещё и тем, что сообщили: одну распечатываем с ним, одну берём с собой. Платим за обе.

– Вот такой пошёл клиент у тебя.

Добру добро откликается – в служебном купе появились и горячая картошечка и рыба, также огурчики-помидорчики, вызвавшие в памяти частушку: «Огурчики-помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике». Хоть и не убивал, а в частушку для закрепления в народной памяти попали оба. Посидели душевно, пошли. И снова эти контрасты жары и полярного холода, снова эти перемерзшие окна, за которыми что-то пронеслось.

– Как в метро едем, – сказал я на середине пути.

– Слушай, барин, беря в рассуждение то, что от этих сквозняков и мороза ни в одном глазу, а так-

же трудность добывания горячего, а также то, что всё равно снова идти, то...

– Не из горла же.

В том же вагоне, в котором пришло разумное решение, мы обратились к проводнице как близкие друзья Игоря. Да и без Игоря мы были в своем народе. Огурчиков не было, но чистые стаканы, но хлеб, но шоколадка предстали в ту же минуту. Посидеть с нами проводница отказалась. Оставила нас из деликатности одних, пошла подметать.

– Надо бы ей стих сочинить, – предложил я. – Еда на уровне министров, да и обслуживают быстро.

Толя подхватил:

– Нам так понравилось сидеть, что захотелось к вам опеть.

Мы всё прибрали, вышли в тамбур. Толя курил, я мёрз. Пытался продышать глазок в стекле. Вроде прогаивало, но как только отслонялся, чтоб набрать воздуха, глазок затуманивался, как засыпающий.

– Удмуртию, наверное, проезжаем.

– Не Удмуртию, а Глазовский уезд Вятской губернии, – поправил Толя. – Мы вятские, чужого нам не надо, но наше отдай. Нас вообще кругом обтяпали. Чайковский был наш, стал удмуртским, это что? Заболоцкий отошел к марийцам, Шаляпин к татарам, Шишкин к ним же. Что ж осталось? Васнецовы только. Ну что, барин, к Игорю?

Игорь уже был не проводник, а полупроводник, как мы его потом назвали. Но, выпивая, он не хамел, цены не прибавлял, только всё обещал начистить морду электрику состава.

– Он же всю дорогу дрыхнет. Вот и отоварил Райку. Нет, начишу! Будет блеснуть, будет!

– С мордой не связывайся, – посоветовал Толя. – Пристрели и выкинь. Проще. Вместе с Райкой.

И опять этот поход из головы в хвост. По пути благодарили проводницу, обещали написать ей стих. В этот раз всё-таки решили пойти до своего вагона, а то как бы наши полушубки не скоммунизьмили. В вагоне полушубки были на месте.

– Филимон, пока не будем открывать, давай сочиним, обещали же.

Соседи по купе засобирались выходить. Верещагино.

– Уже Верещагино! – ахнул Толя. – Да, барин, вот как, оказывается, надо преодолевать пространство. Преодолевать его в движении. Лёжа мы бы так быстро не ехали.

Мы улучшили жилищные условия, то есть перебрались с боковых мест на перпендикулярные им. Стали сочинять. Я письменно, Толя устно.

В жаре, на полке боковой, Над колесом, у туалета, Я ехал к крестнику домой, Он был поэтом. Крик жён, храпенье их мужей, Хрипенье радиоэфира, Казалось мне, что нет уже Другого мира. И обескровленный листок В окне метался. Изнемогая, на восток Я продвигался...

Окончание я забыл, да это и неважно. Толя, как профессионал, сочинил гораздо лучше: «Надоело болтать и стограммить под хмельную чечётку колес. Я сумею состав застопкранить, я успею уйти под откос. Вы меня ни за что не найдете, мне на вас глубоко наплевать. Ах, какие на поле омёты, я в омёты уйду ночевать... – Дальше, помню, было: – С головою зарююсь в лучи и усну в золотистой соломе, как у мамы на русской печи. – В конце стояло: – Не забыт он, не предан, не запит родниковой отчизны исток. Мне на Вятку, на запад, на запад, а колеса стучат на восток».

Толя щедро похвалил мои способности к рифме, но поправил:

– То, что я твой крестник, ты верно отобразил, но почему про этого крестника: он был поэтом? Был? Если так, то я сумею состав застопкранить. Все будут как обескровленные листки метаться.

– А на кого это тебе глубоко наплевать?

– Они поймут.

В Перми вряд ли было теплее. Доказательством мороза было то, что прямо на вокзале у меня лопнула вторая подошва, и первая, та, которую лечил брат, тоже треснула, но не по склеенному, брат сделал на совесть, а рядом.

– У тебя дома клей есть?

– У меня, как в Греции, всё есть, – отвечал Толя. – Но ты что, думаешь сдаваться? У меня и жена есть, даже и вятская, то есть даже больше, чем хорошая, да ведь жена-а. Но! Барин, сейчас хоть и темно, а ведь ещё и шести нет. Помнишь шутку: до семи пьют семиты, а после семи антисемиты. Поехали в Союз, там точно кто-нибудь есть.

О, эти бесконечные пермские улицы, проспекты, гигантские площади. Ну, зачем, скажите мне, иметь в городе улицу, конечно, имени Ленина, длиной в семьдесят километров? Одно утешало, что в Перми есть своя Царь-пушка размерами больше Царь-пушки, стоящей в Кремле. Причём важное отличие: кремлёвская пушка так и не выстрелила, а пермская и стреляла, и ещё вполне может стрелять. Сведение, ценное для нынешних времен.

Приехали в Союз писателей. Там было народисто. Рядом с Союзом писателей был клуб МВД, конечно, имени Дзержинского. В нём мы быстро достали всё необходимое для радости встречи. Вот, кстати, тоже глагол: достать. Этот глагол гораздо энергичнее, нежели глагол «купить». Купить любой может, а ты достань. Достать – дело творческое. Загремела казённая посуда, с меня требовали московских новостей. Но я всегда замечал, что в провинции больше знают о Москве, нежели в самой Москве. Высокий поэт, назовем Александром, завладел вниманием.

– Этот шплинт, – сказал он, – этот шибздик имеет мировоззрение.

– Хватит тебе! – закричали присутствующие.

– О! – вдруг встрепнулся Толя, сидящий рядом. – Ведь Славка рядом живет. – Толя вышел. Потом я понял, что он звонил поэту маленького роста, просил прийти в Союз.

Тут началось и блистательно произошло событие, положившее конец поэтической вражде. Событие задумал и провёл Толя. Он примерно рассчитал время прибытия Славы и наполнил бокалы.

– За Пушкина! – возгласил он.

Возражений не было. Только встали (за Россию, за Пушкина, за женщин – стоя), как в дверях появился Слава. Александр поперхнулся, Слава попятился, но Толя подскочил к дверям, загородил Славе выход и закричал:

– Тих-ха! Саш, скажи только одно: хуже или лучше Пушкина ты пишешь? Мы знаем, что ты прекрасный поэт, ты заработал бессмертие, но вот кто лучше: ты или Пушкин?

Александр помялся, переступил (все ждали ответа) и угрюмо проворчал:

– Ну, Пушкин.

– А ты, Слав? – тут же обратился Толя к маленькому ростом. – Ты лучше Пушкина пишешь, а?

– Что глупость говорить? – ответил Слава. – Пушкин же.

– Итак! – поднял руку Толя. – Вы оба пишете хуже Пушкина, так чего вам делить? Чего? Ну-ка, брудершафт!

Мы загудели одобрительно, стали подталкивать противников друг ко другу. И – свершилось: Толя с помощью Пушкина и с нашей помощью покончил с враждой, вырвал её корни. Славу и Александра посадили вместе. Александр отечески подливал соседу и гудел:

– Плюнь ты на эти мировоззрения, пиши проще. Как у Пушкина: мороз и солнце, понимаешь, прибежали в избу дети... так и молоти.

Сидение закончилось. Тогдашний секретарь пермского отделения Союза писателей Николай Николаевич Вагнер позвал нас к себе. Много лет назад он похоронил жену, больше не женился, жил одиноко, но очень чисто в трехкомнатной квартире. Сразу отказался от нашего предложения посидеть на кухне, стал накрывать в большой гостиной. Любо-дорого было смотреть, как он постилает чистейшую скатерть, достаёт из серванта и перетирает хрусталь, фарфор, раскладывает мельхиоровые приборы, извлекает из морозилки запотевшие ёмкости, нарезает дефицитные продукты. Опять отвлекусь: это была чисто русская советская загадка тех времен: при пустых магазинах изобилие продуктов в домах. На Западе в магазинах всё ломилось, а придёшь к ним домой – пусто, экономно, ужимисто. У нас всегда полная чаша. Сейчас более начинаем походить на Запад.

Николаю хотелось поговорить с московским гостем.

– Вот этот, – он назвал модную фамилию, – ведь еврей?

– Ну?

– Я сразу понял. Не успел напечатать роман, как уже шквал аплодисментов. А ведь в зубы нечего взять, просто гигантский очерк, а не роман. А вот этот (фамилия) русский, прекраснейшая повесть, и никто ни звука.

– Ни слова о евреях! – закричали мы.

– При Сталине... – начал Николай.

– Ни слова о Сталине, – закричали мы.

– Значит, молчать?

– Есть же третья тема, – о женщинах.

Потом мы воспели этот вечер в стихах: «Коля жил как отшельник игумен, лишь с печатной машинкой дружил, и в горячке писательских буден без излишеств, без пьянства он жил. Только надо ж такому случиться – был покой монастырский сметён, вдруг явился к нему из столицы барин в туфлях, а с ним Филимон...» Про барина и Филимона мы, конечно, Николаю рассказали.

– С женщинами я вам не помощник, – ответил Николай. – Но пригласить могу.

– Приглашай, – распорядился Толя. – Желательно постарше. Для общения, для интеллекта. Вдохновения хватает.

Я вызвался чистить картошку и жарить мясо, они пошли звонить. Слышно было, как Толя энергично уговаривает:

– В такой мороз надо держаться ближе друг к другу. На полчаса? Отлично. В нашей жизни и пять минут могут стать вечностью.

Одну уговорили. Стали звонить второй. Вторая, объяснил Николай, была очень важной женщиной, со склада запчастей. Познакомился, когда ездил доставать что-то для своих «Жигулей». «Писателей, говорит, уважаю. Телефон дала домашний».

И вторую уговорили. И мясо у меня подошло и томилось под чугунной крышкой. Обе приехали чуть ли не враз. Первой та, которую Толя уговаривал особенно жарко. Зрелище было страшным. Потом мы его описали так: «Филимон возле дамы хлопочет, возле дамы ужасной своей, у которой ни сердца, ни почек, ни волос, ни бровей, ни груди». Вторая была раза в два моложе, но тоже сильно в годах.

Я сидел напротив Толи и видел, что он и страшится, и мужается поглядеть на соседку. Другая, со склада, была проще и веселее. Чем-то ей понравился именно я. Она предложила спеть интеллигентскую песню: «Миленький ты мой, возьми меня с собой». Спели и стали анализировать: кто в центре песни? Эмигрант? Скорее, ещё не уехавший, но отправивший в «край далёкий» и жену, и сестру. Ведь в краю далёком есть у него и жена, и сестра. Заставили Толю читать стихи. Всё было душевно.

Полночь, однако, приближалась. Женщина со склада вполне освоилась в квартире, сообщила мне, что нам надо занять одну из комнат, что уже люди устали, надо дать им отдохнуть, и нам пора. Николай, наклоняясь ко мне, вдалбливал, чтоб я непременно к утру достал крестовину для его «Жигулей». Вот женщина, прихватив в одну руку рюмки, в другую графин (Николай же не мог опуститься до того, чтоб наливать гостям из бутылок), лягнула меня в плечо бедром и пошла. Николай стал меня толкать вслед за ней, повторяя: «Крестовина, крестовина!» Так он меня и затолкал в камеру пыток.

– Миленький, – хлопнула в ладоши женщина, – контрольный звоночек, и...

Этот контрольный звоночек меня спас. Оказывается, муж женщины уехал в тот день проверять отопление на даче и собирался там ночевать, а приехал туда – всё отопление полопалось, трубы перемерзли, и он возвращается. Хорошо ещё, заехал к знакомым гаишникам и позвонил с поста. Эти сведения женщина получила от матери, взвизгнула и мгновенно собралась. Я фальшиво и радостно кричал:

– Как? Так сразу?

Вызвали такси. Оно, как и в Вятке, подрулило моментально. Женщина исчезла. Вскоре отправили и вторую. Можно себе представить радостное мужское застолье, которое вслед за этим продолжалось ещё дня три-четыре.

Но в этих днях были: и баня, и покупка мне зимних ботинок, не австрийских – отечественных, тёплых, надёжных, были и встречи с трудящимися и учащимися. Продолжалась игра и в барина, и в Филимона, причём, я до сих пор не понял, кто из нас кто. Ослабев здоровьем, я уже не мог ехать поездом. Тем более, если б я поехал поездом, то как бы я проехал Вятку? А на неё уже не оставалось сил. И я улетел самолетом. Всё было настолько доступно и настолько мы все это не ценили, что... что теперь!

В Москве измученный Уралом организм схватил простуду уже на трапе самолета при выходе, и вечером того же дня я отправился лечиться. Куда? Конечно, в ЦДЛ. И там, конечно, сидел Анатолий Кончиц, которому я и рассказал о воплощении его литературных персонажей, что его повесть, так сказать, каким-то боком вышла всё же в люди.

И какова же, как говорил знакомый писатель кавказских кровей, какова же «марал»? Он не видел смысла в рассказе, если в нём не было любовной морали.

Да, какова «марал»? А никакой. Чего теперь, когда всё в России – и власть, и финансы, и особенно средства массовой информации, театр, кино, – всё захвачено, я не скажу – нерусскими, но скажу – антирусскими людьми. Именно так. И мы сами помогли этому. Одно утешает: всё это захвачено, а захватчики трясутся от страха. Они же понимают, что Россия осталась с русскими.

Но как же помогли? Очень просто: тем, что подвигивали кухонным борцам, желающим публично говорить правду, желающим жить в другой стране или переделать эту страну. Мало было, что говорили везде и говорили, кто что хотел. Но ведь так хотелось кайфа – тиражировать то, что говоришь на кухне, обнажаться хотелось публично. Ну, обнажились, ну, переделали страну, что ж вам невесело, господа хорошие?

В кратком послесловии сообщаю, что та женщина со склада сама привезла Николаю несколько крестовин, полюбила литературу, выпрашивала мой адрес. Николай выстоял, семья моя сохранилась.

Вот такие воспоминания из времён, когда картошка стоила десять копеек, а в школе детишек учили любить Родину.

От автора: эта моя работа 1995-го не была замечена. Что делать, я и не обольщаюсь тем, что она могла бы остановить наступление пошлости и разврата на русский театр. А теперь уже и («Тангейзер») кощунства воинствующего безбожия. А ведь все сдвиги в сторону падения начинаются с экспериментов. И ими оправдываются. Что же, нельзя заниматься поисками? Пожалуй-ста. Но где вы ищете, в каких помойках, в каких публичных домах? Широко разрекламированный конкурс «Золотая маска» стал именно тем разносчиком заразы, которую можно назвать гнойной язвой на теле сегодняшнего театра.